

С. ЗАРЕЧНАЯ

КАЗАЧОК ГРАФА МОРКОВА

МАЛЕНЬКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА“

С. ЗАРЕЧНАЯ

КАЗАЧОК ГРАФА МОРКОВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



Москва

«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

1982



P2
3-34

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ
Рисунки И. КУСКОВА

3 $\frac{4803010102-249}{M101(03)82}$ 376—82

СМОТРИ НА ГОСПОД ВЕСЕЛЕИ

— Тише, оголтелый! Блюда цены нет... Свиной тебе пасти, а не в барских хоромах служить.

От грозного окрика старого дворецкого Гришку прошибло потом.

— Самовар поспел? — спросил дворецкий уж снисходительнее.

— Поспел-с. Прикажете подавать?

— На стол собери прежде. Порядка не знаешь, — вьедливо забрюзжал старик. — Сливки где? Пампушки где? Доколе на спине науку не пропишут, так и будешь разиня разиней.

Гришка метнулся было исполнять распоряжение, но, вспомнив что-то, остановился, переминаясь с ноги на ногу.

— Ну, чего стал? — прикрикнул на него дворецкий. — Поворачивайся!

— Тамо-тка... управитель дожидается с парнишкой, — робко выдавил Гришка.

— А, привёл... Пущай идёт.

Гришка скользнул в боковую дверь, и тотчас же из людской на террасу вышел графский управитель, Андрей Иванович Тропинин, плотный, среднего роста мужчина, одетый не по-крестьянски и не по-господски, а так, как в городах

одевались зажиточные мещане: в синей поддѣвке с пѣстрым поясом, в сапогах, начищенных до блеска. За мужчиной следом шёл паренёк лет десяти, как и отец, одетый чисто, в русскую рубашку, плисовые шаровары и ладные сапожки.

— Его сиятельство почивать ещё изволят? — спросилшедший, поздоровавшись с дворецким.

— Сейчас встали. Чай кушать будут, — со спокойной важностью ответил старик.

Управитель помолчал, потом сказал неторопливо:

— Там, Гордей Титыч, народ дожидается. С ребятишками пришли. Вечор его сиятельство приказывали всех, коим десятый годок миновал, на барский двор пригнать для отбору.

— Добро, — величественно кивнул дворецкий.

— Стало быть, нынче отбирать будут? — пытливо продолжал управитель, сдерживая волнение, прорывавшееся сквозь степенную медлительность его речи.

— Не преминут, — ответил дворецкий со значительным видом человека, хорошо осведомлённого обо всех господских делах и намерениях. — Молодая графиня Наталья Антоновна весьма интересуются. Его сиятельство обещались им в приданое двух казачков приписать... — И, помолчав, прибавил, кивнув на Васю: — И ты, вижу, сына привёл?

Тронув двумя пальцами Васин подбородок, глянул в серые глаза мальчугана.

— Грамоту знаешь, баловник?

— Обучен, — бойко ответил Вася.

— Он по части художества весьма смышлён, — подхватил отец. — Кабы моя воля, к рисовальщику в ученье, ей-богу...

Старик поднял косматые брови.

— К рисовальщику? Полно, Андрей Иваныч! Слыхано ли дело, чтоб крепостной об эдаком помышлял.

Но Андрей Иванович не отступал. Заговорил торопливо и доверительно:

— На его художество в школе все дивовались: и дьячок, и ребята. У него в тетрадке и церковный двор, и светёлка, где стоял, и дьячихина укладка с картинками. До чего сходствует! Большую приверженность имеет паренёк. Кабы моя воля...

Седые букли на парике дворецкого с укоризною взметнулись.

— Полно, что ты, батюшка! Негоже крепостному и в мыслях-то такое содержать. Негоже, да и непристойно. Не посетуй на меня, старика, за правду. Добро бы какой непутёвый говорил. А ты человек степенный. Не серый мужик. Главный управитель. В хорошем доме живёшь, господскими милостями взыскан. Сам человеком стал, а сына пошто сбиваешь? Мы — люди подневольные. Угождать господам, вот тебе наука и художество.

Тропинин вздохнул. Помолчав, вынул табакерку:

— Одолжайся, Гордей Титыч.

— Благодарствую, милый, благодарствую.

Старик захватил пальцами щепотку табаку, зажмурившись, потянул носом, крепко, с удовольствием, чихнул.

— Ох, отменный табачок... Отменный! Сладкую слезу вышибает.

— Неплох, — согласился Тропинин. — Из Новгорода привёз, как за сынком ездил.

Он вытащил из кармана ещё не распечатанную пачку:

— Пожалуй, государь мой, не побрезгуй.

Дворецкий прикинулся удивлённым:

— Чего ты, ась?

— Табачок. Нюхай на доброе здоровье да Ваську мово не оставь, ежели его сиятельство в дворню мальчонку определяют.

Дворецкий принял подарок, смахнул табачные пылинки с обшитой галуном ливреи.

— И полно, Андрей Иваныч, сам небось ведаешь — у нас понапрасну не обидят. В кои-то веки поучат легонько, да и то более для остратки...

Вася бродил по террасе. Кругом было столько невиданного, любопытного. Закинув голову, он любовался хитрыми завитками и листьями на верхушке белых колонн, мягко выделявшихся на бледно-жёлтом фасаде господского дома.

Перед домом была площадка, мощённая каменными плитами, за ней, точно гарусный коврик, зеленела ровная лужайка. Вокруг в больших вазах, утверждённых на подставках, кудрявились какие-то заморские растения. Они падали резвыми струйками, качаясь на ветру, бросали узорную тень.

Около стола хлопотал Гришка. Крахмальная белая скатерть зацветала голубыми чашками, гранёными стаканчиками с позолотой, с резными затейливыми украшениями. На серебряных блюдах розовели ломтики ветчины, румянилась горячая сдоба. Старым золотом отливал мёд в прозрачной вазе. Около каждого прибора на золочёных тарелочках изжелта-белыми розами красовалось сливочное масло.

Солнечный луч скользнул по гранёному хрусталу, дробясь на цветные полосы, радужным зайчиком прыгнул на стену. Вася долго следил за его игрой, потом подошёл к отцу, потянул за рукав:

— Тятя, а тятя, глянь-ка, цветненький какой... Ежели углем — не выйдет. А краски где добудешь? У маляра либо зелёная, либо красная — крышу красить. И всё. А тут вона сколько разных надобно.

Тропинин молча погладил сына по голове. Дворецкий легонько подтолкнул его к выходу:

— Ступай, Васятка, на лужок за домом, к ребятам. Я тебя уже покличу.

— Прощенья просим, Гордей Титыч,— сказал управитель, уходя вслед за сыном.

Тем временем дверь из зала распахнулась. Прошка-казачок в кафтанчике и красных сафьяновых сапожках встал у притолоки. Минуту спустя, колыхаясь тучным станом, облачённым в шёлковый персидский шлафрок, сам граф Антон Сергеевич Миних выплыл на террасу и проследовал к столу. Гордей Титыч, вытянувшись, встал за графским стулом.

Его сиятельство хлебнул из стакана, скосил глаза на сливочник.

Старый слуга тотчас долил чай отстоявшимися жирными сливками.

Лёгкое облако из тюля, кисеи и тончайших кружев возникло в дверях. Вошла молодая графиня, следом за ней жених. Графиня Наталья Антоновна склонилась к пухлой отцовской руке.

— С добрым утром, граф! — приветствовал Миних будущего зятя. — Каково тебе спалось на новом месте? С дороги-то изрядно устал?

— Благодарствуйте, ваше сиятельство,— щёлкнул шпорами генерал. — Я успел уже отдохнуть в вашем доме среди стольких удобностей и столь любезного внимания.

Старый граф насыщался молча, сосредоточенно, неторопливо. Из уважения к нему молчала и молодёжь. Тень на полу медленно уползала. Солнце жёлтой охрой обрызгало ступени террасы. В жаркой тишине тонко звенел комар, жужжали пчёлы. Из парка тянуло липовым духом.

На лугу, поодаль от господского дома, томились мужики. Прикидывали, сколько можно было бы накосить с утренней зорьки. Ведь день-то был свой, барщину уже отбыли. А тут,

вишь, скоро полдник, а барин не начинал ещё отбирать ребят.

Его сиятельство вытер салфеткой отвислые замаслившиеся губы, грузно откинулся на спинку кресла, прикрыл тяжёлые веки.

— Трубку.

Казачок Прошка, дежуривший у дверей с длинной, вышитой бисером по мундштуку трубкой наготове, проворно подскочил к графу и высек огонь. Граф сладостно затянулся дымом.

Дворецкий почтительно кашлянул.

— Осмелюсь доложить, ваше сиятельство, ребят пригнали для отбору. Прикажете?

— Э... э... пожалуй,— вяло прошамкал граф.

По знаку дворцового Гордея Титыча мужики и бабы с низкими поклонами приблизились к террасе. Ребятишки робели, упирались, прятались за спиной родителей. Гордей Титыч выстроил их в ряд. Рябенская девочка с подслеповатым, порченным оспой личиком стояла первая с краю. Дворецкий подтолкнул её вперёд:

— Подойди к барину, не бойсь.

Его сиятельство вскинул лорнет.

— Куда её, дурнушку эдакую? Ступай себе с богом. Девочка растерянно мигала белёсыми ресницами.

— Ну, чего стоишь? Ступай к мамке. Не нужна ты барину! — прикрикнул на неё дворецкий.

Девочка поняла, радостно взвизгнула и юркнула в толпу.

— Ахти, Парашенька! — радостно откликнулся бабий голос.— Эко счастье, доченька! Пойдём, пойдём, лапушка моя!

Вторая девочка приглянулась барину.

— Ну-ка ты, пригоженькая, как звать?



— Машей.

— Вишь востроглазая! В вышивальщицы её, Машу.

Девочка шмыгнула носом и вдруг заголосила жалостно, по-бабьи.

— Чего ревёшь, дура! — осердился дворецкий. — Гришка, отведи её к девкам, в рукодельную.

Вася стоял третьим в ряду.

— Ты чей? — любопытствовал его сиятельство, вглядываясь в не по лётam сосредоточенного мальчугана.

— Тропинина, Андрея Иванова, — не смущаясь и тоже разглядывая графа, ответил Вася.

— А! Управителя! Грамоту знаешь?

— Грамотный, ваше сиятельство, — ввернул дворецкий. — Весьма смыслённый парнишка. Из него толк будет.

— В казачки его, — милостиво определил барин.

Вася покраснел и низко опустил голову.

— Что волком глядишь? — снисходительно потрепал его по щеке дворецкий. И, отводя в сторону, добродушно шепнул: — Смотри на господ веселей... Гришка, отведи-ка его в гардеробную. Ливрею выдать ему с галуном, сапоги, что положено.

Молодая графиня, следившая за отбором детей, под села к отцу:

— Папенька, окажите милость, запишите за мной управителя сына.

— Изволь, душа моя, коли он тебе по нраву пришёлся. — Граф зевнул и поманил дворецкого: — Много ещё там, Гордей?

— Более дюжины, ваше сиятельство.

— Фу-ты! Напустили парфюму... Словно из хлева. — Он обмахивал надушенным фуляром лоснящееся, в жирных складках лицо. — Пойдём, Гордей, поглядим их на вольном воздухе. — И с любезной улыбкой обернулся к генералу-же-

ниху: — Полагаю, граф, ты не соскучишься со своей наречённой...

— Ах, друг мой, как я рада, что папенька презентовал нам управителява Ваську,— сказала Наталья Антоновна, когда отец с дворецким спустились в сад.— Отменный казачок из него выйдет.

— А что, ежели, ангел мой, его кондитеру в ученье отдать?

— Кондитеру?

— Именно, душенька. В Санкт-Петербурге гащивал я у знакомца моего, графа Завадовского. Стол у него достойный удивления, особливо по кондитерской части. Фонтан леденцовый бьёт из шоколадного бассейна, избушка пряничная на курьих ножках, корзинка с плодами марципанними, наподобие натуральных. Лишь на придворных балах подобное увидишь. И добро бы все эти художества француз-искусник изготовлял. Так нет же, русский. Что, ежели отдать этого... как его... ну, ну, Васю, в науку к сему мастеру?

— Я с вами согласная,— улыбнулась Наталья Антоновна.— Этакой кондитер — сущий клад. Все соседи будут нам завидовать...

В людской кто-то заплакал. Кто-то другой выговаривал однозвучно, нудно, точно осенний дождь стучал по крыше. Потом всё затихло. Старшая вышивальщица Панфиловна, девушка-вековуша, сгорбившись от многолетней маеты, появилась в дверях.

Отвесив поясной поклон барышне, проговорила испуганно:

— Матушка графинюшка, ваше сиятельство, беда! Марфутка глазами занемогла.

— Быть того не может, Панфиловна! — сказала Наталья Антоновна, видимо обеспокоенная.

— Истинная правда, матушка, не вру. Хлопает глазами,



точно одурелая. Тычет иглой куда ни попадя. Грех, да и только!

— Пошли её сюда.

Наталья Антоновна в волнении заходила по террасе.

— Ах, как это огорчает меня, мой друг! Стало быть, моё покрывало к свадьбе окончено не будет! Искуснее Марфутки-вышивальщицы не сыскать во всей округе.

Со слезами, с воплями, с причитаниями кинулась Марфутка к Натальиным ногам:

— Матушка барышня, ваше сиятельство, прости меня, дуру окаянную! Не вижу глазами...

— Как же быть, Марфутка? — насупилась графиня. — Сама знаешь, кроме тебя, никто не угодит. — И добавила ласково: — Неужто не постарайся ради своей графинюшки? Много ли осталось...

— Матушка барышня, голубушка наша, не изволь гне-

ваться! — заголосила Марфутка, поднимая с полу распухшее от слёз лицо.— Я ли не старалась для вашего сиятельства, себя не жалеючи! Узор хитрый, сами изволите знать. Цельные дни да ноченьки над пальцами сиживала. А токмо намени моченьки не стало. В глазах колотьё... Круги огненные... А то и вовсе темно делается...

— Стало быть, огорчение моё тебе нипочём! — вскинулась Наталья.— Стало быть, покрывала к свадьбе не будет!

— Воля ваша, матушка графинюшка, а нету мочи. Вовсе не вижу глазами,— растерянно твердила Марфутка.

Наталья часто задышала, распаляясь гневом. Но спохватилась, не желая при женихе кричать и ногами топтать.

— Лучшее покрывало из всего приданого! — проговорила она с горечью.

Граф Морков искоса наблюдал за невестой. Отметил про себя, как выражение своевольного гнева исказило её пригожее личико, как резок и неприятен стал её голос. Но не эти сделанные им открытия занимали его.

Ираклий Иванович Морков, родом из новгородских дворян, выдвинулся при императрице Екатерине не красотой, не статью, как многие из вельмож того времени. Он был боевой офицер. Отличился при взятии Измаила в турецкую войну, графский титул, генеральские эполеты, богатые поместья заслужил военным талантом и личной храбростью.

Как все люди, которые собственными усилиями добились богатства и почестей, граф Ираклий Иванович был самоуверен, упрям и властолюбив. Но хозяином, помещиком был он разумным, то есть действовал по правилу: чтобы скотина хорошо работала, надо её содержать в чистоте и тепле, кормить досыта.

— Уведи девку,— сказал он Панфиловне.— Её сиятельство решение своё после объявит.

Когда обе вышивальщицы вышли, граф усадил невесту в кресла, подал воды:

— Успокойтесь, ангел мой. Эдак ведь недолго и до нервного припадка...

— Нет, какова негодница! — плачущим голосом пожаловалась Наталья. — В полное расстройство меня привела.

— Наталі, — продолжал граф, — дайте девке отдых. Искусных мастериц беречь надобно. Слыхивал я, от чрезмерной работы вышивальщицы слепнут, а от сего хозяйству урон. Ты холопа усердного пожалей в болезни, он тебе впоследствии времени втрикрат отработает.

Наталья вздохнула:

— Золотое у вас сердце, Ираклий. Будь по-вашему.

По ступеням террасы поднимался управитель. Обычно спокойное лицо его выражало растерянность и волнение.

— Что тебе? — несколько удивилась Наталья Антоновна.

— Просьбишку до вас имею-с, ваше сиятельство, — поклонился управитель. — Наслышан я, его сиятельство Ваську мово отписать вам изволили?

— Отписал.

— Так я просьбишку имею-с...

— Нет, нет, не проси, — перебила Наталья Антоновна. — Я твоего Ваську никому не уступлю.

— Не об том речь, матушка графинюшка. Разлука — что! Разлуки не миновать. Мы люди подневольные. Об другом просьбишка. Васятка мой большую прилежность к художеству оказывает. Так в науку бы его.

— И просить нечего, — вмешался Морков. — Мы с графией безо всякой просьбы твоей положили Васю в науку отдавать.

Суровое лицо управителя помолодело.

— Да-да,— подтвердила графиня.— Отправим Васятку в Петербург на выучку к кондитеру графа Завадовского.

— К кондитеру?! — горестно изумился Тропинин.

Графиня вспыхнула:

— Что ты о себе возомнил? Или сыну твоему непристойно кондитером быть?

— Матушка графинюшка, у Васьки к рисовальному делу отменный талант. Из него толк большой будет вашим сиятельствам на потребу.— Он вынул из-за пазухи аккуратно завернутую в кумачовый платок тетрадь.— Сами извольте взглянуть — всё его рука.

— И глядеть не стану,— сказал Ираклий Иванович.— Крепостной — да в рисовальщики! Ну рассуди ты сам, чудак этакой, на что мне в хозяйстве рисовальщик понадобится? У нас в кондитере надобность. А в рисовальщике какой прок?

— Воля ваша,— настаивал управитель, кажется не сознавая неприличия подобного поведения.— Воля ваша, а я по малому разумению своему полагал: коли Васька в люди выйдет, он себя и оброком большим оправдает.

Морков снисходительно усмехнулся:

— Мы с графиней в оброке нужды не имеем, любезный. Нам челядь толковая надобна.

— Ступай себе с богом,— сказала Наталья.— Об сынке не печалься.

— Прощенья просим, ваше сиятельство,— пробормотал управитель осипшим голосом, бережно упрятал тетрадь и, согнув плечи, пошёл прочь...

В гардеробной Васю обрядили в синий казакин, обшитый галуном, такого же цвета шаровары и красные сафьяновые сапоги.

Потом Гришка отвёл его в просторную полутёмную при-

хожую, где ставни закрывались, чтобы защитить от солнца дорогие штофные обои.

— Стань туда, дожидайся,— сказал Гришка.

— Чего дожидаться-то?

— Прощка придёт. Он те растолкует что к чему.

— Прощка? — переспросил Вася и вспомнил паренька, которого видел утром в дверях. — А где он есть, Прощка?

— Он при барине занимается. Мух отгоняет,— ответил Гришка, прикрывая за собой дверь.

Вася смешливо сморщил нос.

— Занятие! — Он так и не успел спросить у Гришки, пошутил ли тот или при барском дворе и правда была такая должность — мух отгонять.

Сквозь щёлку ставней на пол падала жёлтая полоска. Пылинки плясали в голубоватом луче. На стене висела картина, но какая, что на ней, в полутьме не разглядишь.

Дверь тихонько открылась. В прихожую опасно, на носках, скользнул Прощка. С минуту ребята молчали, приглядывались друг к другу.

— Тебя как звать-то?

— Васей. А тебя?

— Прощкой.

— Ну как, всех мух разогнал?

— А ты почём знаешь?

— Гришка сказывал.

Прощка весело оскалил зубы.

— Теперь его сиятельство захрапеть изволили. Хоть овод за нос цапни, не услышат...

Оба паренька рассмеялись.

— Ну сказывай, каку работу делать? — спрашивает Вася, вспоминая Гришкины слова.

— Каку те работу? Знай постаивай, покеда не покличут, и всё.

— Ой ли?

— Вестимо так.

— Ну и работа!

В доме сонная тишина. Господа отдыхают между завтраком и обедом. Челядь ходит на носках. Жарко. Вася мается в суконном казакине.

— Ребята на деревне, поди, уже по второму разу испу-
пались. Сбегаем, Прошка? Речка недалече.

— Что ты! Что ты! А коли покличут? Отлучаться не ве-
лено.

Вася вздыхает, потом подходит к окну. Сквозь щель вид-
на клумба, пышный розовый куст в цвету:

— Розаны какие аленькие! Дух от них, поди, хороший.

— Ступай на место,— наставительно замечает Прошка.—
Не велено от дверей отходить. Гордей Титыч осердится.

— Цельный день так и стоять?

— Цельный день, покуда не покличут.

— Одуреть можно.

— И то.

— Эх, кабы нас с тобой, Прошка, в ученье отдали!

— Меня отдадут,— хвалится Прошка.— Графу лекарь
дворовый надобен, а я грамотный. Так посулился в Москву
меня отправить к лекарю в науку.

Вася рассказывает про школу в Новгороде, где он обу-
чался грамоте, про дьячка Пафнутыча, у которого на квар-
тире стоял.

— Сердитый он? — любопытствует Прошка.

— Пафнутыч? Не, добрый. Он ко мне как отец родной.—
Вася улыбается.— На носу бородавка с горошину, другая —
на щеке. А бородёнка козлиная... Прошка, слышь... Уголька
нет ли где?

— На что он те? Тама, в людской, чугунок с угольем для
самовара. Погоди, я духом...

Размашистые угольные мазки смело ложатся на чисто выбеленную стену.

— Ахти! Что делаешь? — шепчет перепуганный Прошка.— Нешто можно стенку марать?

Но Вася не слушает. Его рука с углем так и ходит по стене, проводя новые линии и чёрточки.

— Ус ёжиком топорщится,— бормочет он.— Во! Ухмыляется Пафнутьич... И зуб единый под усами кажет. А левый глаз у него противу правого меньше. Во!

— Ай да рожа! — с уважением говорит Прошка.— Ну и образина! А видать, добрый...

— Прошка!

Прошка не слышит.

— Ишь ухмыляется... Ну как есть живой.

— Прошка! Васька! Куда запропастились?

Гордей Титыч мелкими шажками вбежал в людскую.

— Его сиятельство кличет, а вы...— И, сейчас только заметив ухмыляющуюся со стены рожу дьячка, задохнулся от гнева: — Ахти, батюшки! Стенку замарали! Кто? Кто это?

— Пафнутьич это,— объясняет Вася, повернув к дворецкому сияющее, перепачканное чёрным лицо.— Дьячок с Новгорода. Я у него на квартире стоял.

Костлявые пальцы впились в Васино ухо:

— Я тя научу стенки марать! Пострелёнок эдакий! Намедни стенку выбелили, а он накося!..

Вася от боли прикусил губу. Гордей Титыч сжалился, разжал пальцы.

— То-то! Вдругорядь поумнее будешь. Гришка, Гришка! Тащи скорейча мокру тряпку! Вишь, Васька стенку углем замарал.

Прибежал Гришка, глянул на стенку и рот до ушей растянул. Минуты не прошло, как в людскую набилась дворня:



девушки и девки из рукодельной, повар с поварёнком, кухонный мужик, судомойка, садовник, прачка.

— Ну и харя!

— А бородавки-то, глянь!..

— Неужто Васятка намалевал?

— Ахти, маляр какой!

— Ой батюшки, животики со смеху надорвёшь!

Дворецкий снисходительно наблюдал за дворней. Ободрённый благодушным его видом, Вася подошёл к нему:

— Дяденька Гордей Титыч, дозвоьте не стирать покеда. Ужо тятенька к его сиятельству с докладом придёт. Пущай поглядит на Пафнутыча, потешится. Кабы знали вы, до чего схоже!

— Я те потешу, пострелёнок! Я те потешу! — неожиданно рассердился старик. И напустился на Гришку: — Чего уставился, ворона? Стирай скорейча! Да разведи мелу с водой. Забелить надобно.

Гришка взмахнул тряпкой, и добродушная, ухмыляющаяся рожа расплылась на стене грязным пятном.

— А вы все по местам! Чего раскудахтались? — Обернулся к Васе: — А ты умой рожу-то, да в прихожую на место. На сей раз милую тебя простоты твоей ради, а вперёд гляди не балуй.— И подкрепил поучение подзатыльником.

НЕРАДИВЫЙ СЛУГА ВАСИЛИИ

Когда Вася вернулся от эконома, кондитерова жена Степанида зверем накинулась на него:

— И где шатался, непутёвый? На-ко, сливки сбивай!

— Меня, тётенька Степанида Власьевна, Сергей Гаврилыч к эконому спосылал, — отвечал Вася с кротостью.

За год он вытянулся и в белом своём халате и белом же поварском колпаке выглядел совсем большим парнишкой. Кондитеров ученик не то что казачок. В господские хоромы графа Завадовского Вася доступа не имел. И теперь, заглянув туда ненароком, не мог утерпеть, чтобы не рассказать, хотя бы даже свирепой Степаниде, о диковинах, которые ему довелось увидеть.

— Ой и напужался же я до смерти! Тама в хоромине дерево в кадке большущее. Птица под ним зелёная в клетке золотой сидит. Уставился я на неё, а она, ровно в сказке, человечьим голосом: «Убирайся! — говорит.— Дур-р-р-рак!»

— Дурак и есть! — проворчала Степанида.— Птица заморская. Попкой зовётся. Попугай.

— По-пу-гай! — протянул Вася, изумляясь неслыханному слову.— Вишь ты... По-пу-гай. И то верно: страсть напужала.

Стопка бумажных салфеток для тортов, плотных, с кружевной оборкой, лежала на краю стола. Вася тихонько потянул к себе одну:

— И ладная же бумага!

Потом вынул из кармана карандаш и, опасливо косясь на Степаниду, принялся рисовать.

— Ну и птица! «Дурак!» — говорит. «Убирайся!» — говорит. А дяденька дворецкий меня взашей: «Куда лезешь, деревня! Наследишь на паркете. Не ходи ногами». — Вася незлобиво засмеялся.— «Не ходи ногами!» — «А чем же мне, говорю, дяденька, ходить?»

— Будя языком трепать! — прикрикнула Степанида.— Сливки-то скоро, что ль, поспеют?

Вася испуганно спрятал рисунок.

— Я духом, тётенька.— И с усердием принялся взбивать желтовато-белую пену.

Но незаконченный рисунок тянул к себе, как на верёвке.

Поглядывая на него, Вася подмечал: «Ах, не так! Глаз у ней круглый, нос крючком...»

Он позабыл о сливках. На бумажной салфетке всё отчётливее вырисовывалось трюмо в затейливой раме, просторная куполообразная клетка с попугаем, сердитый дворецкий, схвативший за шиворот перепуганного поварёнка.

Кондитерова жена гремела конфорками:

— Ну и муженька господь бог послал! Знать, в наказание за грехи мои тяжкие. С коих пор у эконома околачивается, а я тута майся, ровно в геенне огненной. Ох, мочи моей нет! Взопрела вся.— Она вытерла фартуком багровое своё лицо и добавила озабоченно: — Тесто время в печь сажать. Готово, что ль?

— Готово, тётенька Степанида! — весело откликнулся Вася.— Готово. Гляньте. Вона птица в клетке, по-пугай. Вона дяденька сердитый.

Степанида охнула, схватила Васю за вихры, другой рукой яростно скомкала рисунок:

— Ахти, охальник! Ахти, дармоед! Добро переводить? Я тя, щенка шелудивого!..

— Да вы картинку-то отдайте, тётенька, — тихо попросил Вася, защищая руками лицо от тяжёлых Степанидиных ладоней.

— Картинку? На-ко картинку твою! Вона картинка твоя! Вона! Глазыньки мои на тебя не глядели б! У, лодырь постылый!..

Пинком ноги она вытолкнула Васю за дверь и швырнула вслед ему скомканный рисунок.

В сенцах за кухней прохладно. Весеннее небо голубым лоскутом затянуло пыльное окно. Вася кладёт на подоконник смятый рисунок, бережно его разглаживает. Во рту солоноватый вкус крови. Это из рассечённой губы. Левый глаз вспух, слезится.

Вася спускается по лесенке и садится на ступенях крыльца. Тёплый ветер пахнет черёмухой. У входа во флигель, что рядом с конюшнями, вихрастый паренёк чистит палитру. На лице у него весёлые веснушки, улыбка до ушей, тоже весёлая.

Увидя Васю, он весь тускнеет — и улыбка, и веснушки. Он подходит ближе:

— Кто это тебя, приятель?

Вася молчит.

— И губа в кровь, и под глазом фонарь. Эх ты, незадачливый! Кто обидел-то?

— Степанида.

— Степанида? — переспросил паренёк.

— Кондитерова жена, — поясняет Вася.

— А... а... Тебя как звать-то?

— Васей. А тебя?

— А меня — Борей. Видать, зверь-баба кондитерова жена. За что ж она тебя?

— Меня завсегда бьют, когда я рисую, — просто отвечал Вася.

— Рисуешь? Неужто умеешь? Кто научил?

— Кому учить? Я сам. Такой сызмалетства. На-ко, погляди.

Вася протянул ему смятую бумажную салфетку. Боря долго рассматривал рисунок, потом сказал убеждённо:

— Врёшь. Не ты рисовал.

— Я-а... — обиженно протянул Вася.

— Не ты.

Вася усмехнулся.

— Не я? Ну, коли не веришь, я при тебе могу. Хошь, тебя нарисую?

— Ан не нарисуешь! — поддразнивал вихрастый.

— Ан нарисую!

И на обороте бумажной салфетки начал зарисовывать вздёрнутый нос, смешливый рот и забавные вихры нового знакомца.

— Я что хошь могу: и человека, и зверя, и птицу, и всяку тварь. Эх, кабы моя воля, я бы, кажись, целый день рисовал! Не спал бы, не ел бы, всё рисовал бы!

— Взаправду не ел бы?

Вася не слушал.

— Был бы я вольный, в заморские бы края уехал, к знатым художникам в науку, в Италию...

Он вздохнул и продолжал рисовать молча.

«Чудной какой!» — подумал Боря.

Ему уже не хотелось подтрунивать над этим жалким, избитым парнишкой с внимательными серыми глазами на кротком круглом лице.

— Готово. Ну-ко, погляди.

Боря взглянул на задорный свой профиль, обрамлённый бумажным кружевом салфетки, и присвистнул одобрительно.

— Изрядно! Да ты и впрямь отменный рисовальщик! Пойдём, я тебя к папеньке сведу.

— К папеньке? — оробел Вася. — А ты чей будешь?

— Как так — чей?

— Ну, я, к примеру, графа Моркова крепостной, а ты чей?

— Вон ты про что! — засмеялся Боря. — Ничей я. Сам по себе. Отца своего сын.

Вася поглядел на него опасливо:

— Стало быть, барчонок?

— Барчонок? — ухмыльнулся Боря. — Вишь что выдумал! У меня папенька художник. Вот я кто.

— Художник? Взаправду художник? Всамделишный? И красками может малевать?

— Известно, всамделишный. А то какой же? — посмеялся Боря.

— Не барин, стало быть? Не крепостной, а сам по себе, вольный человек. Художник... всамделишный. И красками может. Что ж, веди меня к папеньке.

В кабинете графа Завадовского сидели гости: граф Ираклий Иванович Морков и двоюродный его брат Иван Алексеевич. Изменился Ираклий Иванович с той поры, когда женихом ещё гостил в имении своего тестя графа Миниха. Потолстел, обрюзг, потух в глазах его молодой, горячий блеск. Не у дел оказался при императоре Павле боевой генерал. Как и все, отличившиеся при покойной императрице Екатерине Второй, Морков был в опале. Удалившись от двора, он жил на Украине, в богатом своём поместье. Изредка, впрочем, наезжал в столицы — то в Москву, то в Санкт-Петербург — повидаться с друзьями, поразвлечься, закупить модных обновок. В один из таких приездов навестил он графа Завадовского и пожелал узнать, впрок ли пошло его казачку Ваське Тропинину обучение кондитерскому мастерству.

О приезде Васькиного барина проведала вся челядь, и свирепая кондитерова жена, опередив мужа, устремилась в кабинет.

— Чего тебе? — загородил ей дверь камердинер графа. — Не велено пущать. Его сиятельство мужа твоего спрашивать изволил, не тебя.

— Не твоя работа! — огрызнулась Степанида. — Я вместо мужа, пусти!

И, оттолкнув малого, прошла-таки в кабинет.

— Прощенья просим, батюшка барин, ваше сиятельство, — в пояс поклонилась Степанида, признав в дородном

мужчине, раскинувшемся в креслах, Васькиного господина. — Я заместо мужа до вашей милости. Муж у меня овца овцой, прости господи! Не токмо строгости, порядку никакого нет. Знать, за грехи господь бог мужьёв эдаких спосылает...

Морков посмотрел на расхोдившуюся бабу, потом на Завадовского, потом опять на бабу. Он ничего не понимал.

— Об чём толкуешь, матушка? Какой муж? Какая овца?

— Уймись, Степанида! — прикрикнул Завадовский и с улыбкой пояснил Моркову: — Кондитерова это жена.

Но Степанида продолжала, обращаясь к Моркову, как будто он был один в комнате:

— Мука мученская с мальцом твоим, ваше сиятельство! Где мне, бабе, с ним управиться? Вовсе сладу нет с парнишкой. Помяни моё слово, батюшка барин, не будет от него проку. Маляр тут по суседству на фатере стоит, картины малюет, так Васька твой с евоным сынком подружился. И днюет и ночует тамотка. За уши приводить домой придется. Натаскал кистей, красок... Сколько раз толковала ему: конфеты, мол, да варенье красок да карандашей вкуснее и прибыльнее. Так нет же! Добро господское переводит, озорник. Передник новый ему даден, так он, окаянный, возьми да и оторви от него кусок, да таку рамку из полена и сбей, да холст гвоздиками и приколоты, да и намалюй на нём харю, прости господи!

— Каков малец! — сказал Иван Алексеевич. — Любопытно. Где же картина сия?

Степанида глядела на гостя ошарашенная.

— Картина? — вымолвила она наконец. — Кака, батюшка барин, картина?

— Да та, для коей парень передник извёл.

— Не знаю, батюшка барин.



— А ты ступай принеси-ка её,— вмешался Завадовский.

— Тую, что Васька намалевал? — ахнула Степанида.

— Ту самую. Ступай, ступай, пощи!

Степанида ушла, разводя руками: «Картина им понадобилась!»

Ираклий Иванович сидел насупившись. И нужно же было ему взять с собой к Завадовскому этого несносного Ивана Алексеевича! Сам помешан на художествах и других за собой тянет. Снова будет приставать к нему, чтобы отдал Ваську учиться. Не раз уж бывало.

Пришла Степанида хмурая, с небольшой картиной в руках.

Иван Алексеевич поднялся ей навстречу, взял картину и, отойдя к окну, долго, внимательно разглядывал её.

— Отменно! — сказал он, передавая полотно графу Завадовскому. — С натуры, видимо. Сколь велика жизненность! Весьма замечательно. Учить мальчика надлежит. Талант. Большой талант имеет. Взгляни сам, Ираклий Иванович.

«Поди-ка разбери господ, что у них на уме, — бормотала про себя Степанида. — Парню порку надо задать изрядную, а они на мазню его не налюбуются...»

Завадовский досадливо махнул рукой:

— Ступай приведи парня.

— Слушаюсь, ваше сиятельство, — с притворной покорностью вымолвила кондитерова жена и, не торопясь, вышла из кабинета.

— У твоего Васьки отменный талант, друг мой, — начал было Иван Алексеевич. — Грешно оставлять в небрежении...

Он говорил неуверенно, хорошо зная упрямство своего двоюродного брата и его полное равнодушие к искусству.

Храбрый генерал не сумел бы отличить произведения великого мастера от грубой мазни маляра.

— «Талант, талант!» — с раздражением перебил Ираклий Иванович. — Уши мне прожужжали с Васькиным талантом. Отец его письма пишет: отдайте-де, отдайте Василия к живописцу. У него-де талант. Да что отец! Художник незнакомый приходил касательно Васьки тож. У тебя, что ли, стоит оный художник?

— У меня, — кивнул Завадовский. — Подрядил его дом расписывать по весне, как в усадьбу уедем.

— Знать, твой художник и сбивает парня, — сердито сказал Морков. — Немалое время Васька кондитерскому мастерству обучался. Следственно, всё это зря? Ужели кондитера лишён буду?

Тупое упорство приятеля насмешило Завадовского, но он сдержался, чтобы не обидеть графа, сказал с мягкой улыбкой:

— И чудак же ты, любезный друг. Кондитерское мастерство — дело нехитрое. Всякий дурак одолеет. А таланты, подобные твоему казачку, дюжинами на свет не родятся. По дружбе тебе говорю: гляди, прославит ещё тебя Васька Тропинин, и выгоду от него получишь немалую. Кабы знал ты, во что мне роспись дома встанет. А у тебя свой художник будет. Усадьбу всю тебе распишет, и церковь, и дом.

Обрадованный нечаянной поддержкой графа Завадовского, Иван Алексеевич заговорил:

— А ежели из Васи толку не будет, все расходы по обучению его у живописца возьму на себя. Все убытки тебе возмещу. Вот тебе моя рука, брат.

Ираклий Иванович, видимо, колебался. Что, ежели и правда Васька окажет успехи в живописном мастерстве? К тому же двоюродный братец обещается убытки возместить в случае неудачи.

Дверь отворилась. Морков, занятый своими соображениями, не заметил Васи.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — робко молвил тот. Смущённый молчанием графа, он продолжал: — Тётенька Степанида сказывала...

— То-то, тётенька Степанида! Что с тобой сделалось, Васька? Балуетесь, озорничаешь, от работы отлыниваешь...

— Виноват, ваше сиятельство, я...

— Прочить тебя должно путём за нерадение твоё.

— И то прочить, да с надлежащей строгостью, — сдвинув брови, сказал Иван Алексеевич и обратился к Моркову: — Дозволишь ли мне, любезный друг, положить наказание нерадивому сему слуге?

— Изволь, мой милый,— сказал Морков, несколько удивлённый.

— Ваше сиятельство! — умоляюще протянул Вася.

К пинкам и подзатыльникам он привык. Но всё незлобивое существо его возмущалось при мысли о наказании, всегда унижительном и жестоком.

— Поелику нерадивый слуга Васька Тропинин обнаружил в изучении кондитерских наук леность и небрежение,— торжественно, словно читая официальный документ, заговорил Иван Алексеевич,— отрешить его, Тропинина Ваську, от сей почётной должности кондитера и сослать его, раба божия...

— Ваше сиятельство...— пролепетал Вася едва внятно, и глаза его наполнились слезами.

— ...и сослать его, раба божия, в сем же престольном граде Санкт-Петербурге, для изучения искусства рисовального и живописного тож, на попечение советника академии Щукина, за полною оною, Щукина, ответственностью.

Вася обмер.

Он не смел верить своему счастью.

— Шутить изволишь, государь мой,— сказал Морков, недовольный.

— Нимало, брат,— отвечал Иван Алексеевич с полной серьёзностью.— Ты дозволил мне проучить примерно твоего слугу, и я сделал сие по разумению моему. Не прогневайся, друг, коли решение моё тебе не по нраву пришлось, а положенного отменять не моги.

— Не давши слова — крепись, а давши — держись,— со смехом подхватил граф Завадовский.

— Ин быть по-твоему,— с важностью выговорил Иракий Иванович.— Поймал меня на слове — теперь мне отступаться не след. Счастлив твой бог, Васька. Благодарю графа да Ивана Алексеевича.

Когда ученик портретиста Щукина, Василий Тропинин, увидел вереницу карет, растянувшуюся по Невской набережной, направо и налево от подъезда академии, он сильно оробел.

На выставку картин в Академию художеств съезжалась вся петербургская знать, все знатоки, ценители живописи. Иные собственные картинные галереи имели, украшенные произведениями величайших мастеров Европы. Каково-то будут судить они об его скромной картине «Мальчик с птичкой»? Уж лучше бы и вовсе не заметили. А что как разбранят? Однако советник академии Щукин и другие профессора — лучшие художники, которыми вправе гордиться отечественная живопись, — поощряли его успехи. И за пять лет учения в академии он дважды был удостоен награждения медалями.

Стараясь унять свою взволнованность подобными размышлениями, молодой художник поднимался по широкой лестнице, устланной красной бархатной дорожкой, уставленной по обеим сторонам цветущими растениями и статуями древних богов и героев.

Вежливо уступая дорогу разодетой барыне, опирающейся на руку кавалергарда в белых лосинах и шитом золотом мундире, или модному франту в цветном фраке и лакированных башмаках, Тропинин осторожно пробирался среди блистательных посетителей выставки.

На площадке лестницы, у входа в зал, давнишний приятель, сын художника Борис, высматривал кого-то в толпе. Увидев Васю, радостно кинулся к нему:

— Поздравляю... сердечно рад... Успех неслыханный!

— Полно, так ли, друг? А я опасался, не очень ли бранить станут...

— Помилуй, Вася! — перебил Борис с горячностью. — Все восхищены превыше всякой меры. Подле твоего «Мальчика с птичкой» то и дело снуёт народ — яблоку упасть негде. Гляди сам.

В правом углу зала и в самом деле теснились посетители.

Тропинин, радостно смущённый, тащил за руку Бориса:

— Пойдём, пойдём отсюда. Добро, ещё меня никто не знает, а то стеснительно уж очень.

— Чудак!

Посмеиваясь над застенчивостью приятеля, Борис увёл его в уголок, к небольшому диванчику. Два щита с картинами образовали перед ним нечто вроде ширмы.

— Садись, — сказал Борис. — Отсюда всё видно и слышно, о чём толкуют.

Нарядная дама в открытом платье с высокой талией и в атласных туфлях на низких, по моде того времени, каблучках, грациозно скользя по паркету, обернулась к сопровождавшему её генералу:

— Где эта картина? Я слышала столько лестного. Ну где же она, где?!

— Вот, сударыня, судите сами, — пробасил генерал.

Дама поднесла к глазам черепаховый лорнет, прочитала: «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке».

— Ах, прелесть! Сколь натурально! Прелесть, генерал!.. Словно пытается согреть холодное тельце, а ручки пухлые, детские, а в глазах печаль, жалость...

Важный толстый господин, во фраке и с муаровой лентой по низко вырезанному жилету, с орденом на шее, остановился, внимательно разглядывая картину через плечо дамы:

— М-да... поистине... доложу я вам... поистине...

— Вот именно-с, совершенно правильно изволили



отметить-с,— поддакнул скромный молодой человек, следовавший за ним по пятам.

— Как фамилия художника? — осведомился важный.

Скромный молодой человек пригнулся, разбирая подпись на картине.

— Тропинин, ваше превосходительство, — сказал он, прочитав. — Василий Тропинин.

— Гм! Тро-пи-нин... Могу сказать с уверенностью — далеко пойдёт. Я, батюшка, старинный искусств знаток и ценитель, редко ошибаюсь.

— Ну, каково? — шепнул Борис.

Василий молчал. Нежданный успех его ошеломил. Борина искренность, дружба, не знающая зависти, взволновала до слёз.

— Кто сей Тропинин? Имя мне неведомое.

Василий вздрогнул: он узнал голос президента академии графа Александра Сергеевича Строганова.

— Советника академии Щукина учение, ваше сиятельство, — объяснил ректор Акимов. — Юноша весьма талантливый. Двух медалей удостоен. Портрет им рисован с воспитанника академии Винокурова.

— Да вот и сам Щукин — лёгок на помине, — сказал Строганов.

Плотный, длинноволосый художник почтительно раскланивался с президентом.

— Ну-с, Степан Семёныч, поздравляю! — говорил между тем ректор. — Ученики, подобные Тропинину, — лучшая награда учителю. Помяните моё слово, гордиться им будете. Большая дорога, большая дорога, да-с...

Вася слушал, смотрел, поминутно взглядывал на приятеля недоуменно и счастливо.

— Какая дорога у крепостного? — сказал Щукин. — Тропинин мой графу Моркову принадлежит.

— Крепостной? — переспросил Строганов.— Прискорбно... Весьма прискорбно.

Васю будто плетью хлестнули, он съёжился.

— Неужто граф Морков станет препятствовать развитию такого прекрасного таланта? — задумчиво, ни к кому не обращаясь, проговорил президент академии.

— Намерение его сиятельства касательно Тропинина мне неизвестно,— сдержанно ответил Щукин.

— Жаль, что Тропинин принадлежит такому упрямому, а то не грех было бы похлопотать.

— Вы, ваше сиятельство, окажете тем самым великую услугу отечественному искусству,— заметил ректор Акимов с живостью.

— Да... Надобно принять меры. Не для того государство тратится на содержание Академии художеств, не затем профессора время драгоценное и усилия свои употребляют, чтобы впоследствии иной самодур развитого, образованнейшего художника свиной пасти понуждал.

Василий, взволнованный, слушал президента академии. Он знал, что это не пустые слова. Граф Александр Сергеевич Строганов был искреннейшим ревнителем просвещения, покровителем, другом художников и сочинителей.

— Во избежание сих прискорбных происшествий надлежало бы людей крепостного звания в ученики академии вовсе не принимать! — ржаво проскрипел Щукин; в его голосе почуялось Тропинину тайное недоброжелательство.

— Зачем же так? — возразил Акимов с горячностью.— Зачем лишать отечество многих прекрасных талантов? Принимать крепостного возможно, однако с известной предосторожностью. Хотя бы заручившись обязательством помещика дать оному крепостному вольную... Конечно, в случае особых успехов.

— У иного вельможи крепостному, право, куда лучше, не-

жели на воле,— вставил Щукин, льстиво улыбаясь Строганову.— Ваше сиятельство, блистательный пример тому являете.

— В семье не без урода,— отозвался граф шутливо.— Однако, сколь ревностно я ни пекусь о моих людях, по окончании образования я их на волю отпускаю: творческие труды свободы требуют. Государи мои... прощайте. Постараюсь всё-таки вызволить Тропинина.

— Что, сказывал я тебе, малонер ты эдакой! — вполголоса напустился на Василия Борис.— Уж коли сам президент, сам граф Строганов хлопотать посулился, да ректор Акимов славную будущность предрекает...

— Кабы я вольный был,— вымолвил Тропинин грустно.— Щукин-то не зря сказал: у крепостного какая дорога?!

Борис задумался.

— А знаешь, Вася, что-то не по сердцу мне твой Щукин. Уж не завидует ли твоей славе?

Тропинин молчал.

— Щукин — что! — негромко вымолвил он наконец.— Не в Щукине сила. Граф Морков как...

Почерк на конверте был знакомый.

«От Проши»,— подумал Тропинин и торопливо сломал сургучную печать.

Судьба второго казачка графа Миниха, тоже отписанного Моркову в приданое за дочерью, складывалась так. Хозяин рачительный, Морков считал за благо иметь у себя в деревне собственного лекаря. Потому он и поощрил Прошкину склонность к медицине и отослал его в Московский университет.

Тропинин знал, что его старый друг оказывает весьма отличные успехи в науке и что московские профессора хло-

почут перед Морковым о предоставлении ему свободы, необходимой для самостоятельной научной деятельности.

С первых же слов письма Василий понял, как несчастливо обернулось для Прокопия ходатайство москвичей: барин разгневался. Прошка Данилевский — его, графа Моркова, собственность и на его, графские, денежки обучен. А понеже университету учёных недостаёт, так пускай оных из вольных набирает. Он же, граф Морков, своего крепостного для собственной надобности обучал, а ежели Прошка в лекарском искусстве понаторел, то тем лучше для графа Ираклия Ивановича. Вот и весь сказ...

Письмо выскользнуло из рук, забелело на полу в весенних сумерках. Василий не двигался с места. Это письмо предрешало не только судьбу Данилевского, но и его, Тропинина. Свет уличного фонаря жёлтой полоской лёг на пол. Василий полюбовался ею, потом взял картуз и вышел. Ветер дул с Невы, резкий и пронзительный. Наплывали тучи, светила луна, края туч отливали медью.

В окнах квартиры Щукина был свет. Зайти поговорить со Степаном Семёновичем? Может, что и посоветует. Ведь он, Вася, ему, как отцу родному, верил...

Тропинин вошёл, тихонько притворил за собой дверь. В кабинете спорили. Тропинин услышал своё имя, остановился.

— А ведомо ли вам, что одного из бывших наших учеников крепостного звания барин за непокорность крыши да полы красить понуждал? А после на скотный двор отослал. Так этот несчастливец с горя повесился. А другой живописец, кабалы не вынеся, в пруду утопился.

Василий узнал голос Акимова. Потом заговорил Щукин:

— А ведомо ли вам, что прославленный наш художник Поляков вовсе спился с кругу да и пропал без вести?

— Как не спиться с кругу, когда барин его таскал на запятках кареты в ливрее! Полякову случилось распахивать дверцы кареты около тех самых домов, где он великим почётом пользовался.

«Слушать у чужих дверей — непристойность какая», — подумал Тропинин, но уйти не хватало духу.

— Полно вам, батюшка, — говорил Щукин с непонятым для Василия раздражением. — Холоп глушит вино и с горя, и с радости. От людей подобного звания проку не жди. А по-сему почитаю долгом своим без промедления отписать графу Моркову. Особы не токмо высокие, но и высочайшие обратили благосклонное внимание на Тропинина. Её величество государыня императрица Елизавета Алексеевна изволили с одобрением лорнировать его картину. И ежели бы сии особы обратились к графу с просьбой об отпуске Василия на волю, оная просьба была бы приказанию равна.

Вася уже не думал о непристойности своего поведения.

Он только боялся, что стук сердца выдаст его — так громко оно колотилось.

— У малого слишком сильные покровители, — продолжал Щукин, — и ежели граф не желает потерять своего человека, то пускай, не мешкая, отзовёт Тропинина к себе.

— Да вы-то об чём хлопчете, батюшка, ума не приложу, — вымолвил ректор с досадой. — Потеряет граф Морков своего крепостного, нет ли — вам-то что за печаль?

— Граф Морков Василия моему попечению препоручил. На меня в Санкт-Петербурге оставил, — с важностью произнёс Щукин. — Пять лет его сиятельство, как истый вельможа, изволил со всею щедростью оплачивать мои заботы, труды мои, я счёл бы себя бесчестным, оставив графа в неведении касательно Тропинина.

— Бесчестным? А преграждать дорогу молодому талан-

ту, лучшему ученику своему, честным почитаете? Э, да что толковать, нам с вами не понять друг друга.

Ректор поднялся с кресла и направился было к двери, но внезапно она растворилась, и, минуя Акимова, Тропинин бросился к Щукину:

— Степан Семёныч, не губите! Я вас отцом родным почитаю, Степан Семёныч. Будьте благодетелем! У графа Моркова крепостных множество... Я же... Степан Семёныч, не оставьте заступничеством своим перед его сиятельством. Я же всю жизнь свою... Степан Семёныч...

Щукин с изумлением глядел на своего ученика, обычно такого кроткого, сдержанного.

— Стыдись, Василий, поведение твоё непристойно! — сказал он укоризненно.

— До того ли мне, Степан Семёныч! О всей жизни речь. Жизнь моя в руках ваших. Как повернёте, так и будет.— У него пересохли губы, тихие ясные глаза налились мукой.— Кабы помещиком были,— убеждал он горестно,— а то ведь вы сами по себе, славный художник, вольный человек. Благодетельные, благороднейшие чувствования свойственны душе вашей... Так неужто за меня, за ученика своего, перед баринком не заступитесь?

Акимов остановился, ожидая, чем кончится эта сцена. Щукин, сначала озадаченный, оправился.

— Полно, Василий. Смириться надо. Крепостное состояние — закон. На нём государство стоит. Граф Морков — господин милостивый, тароватый, тебе роптать не приходится.

— Стало быть, и вольные господам служат! А нас, холопов, и вовсе за людей не почитают. Так пускай бы уж лучше милостивый граф нас в скотском состоянии держал! А то поживши человеком, да снова под ярмо...

Губы у Тропинина затряслись. Внезапно он умолк и убежал вон.

Куранты отзванивали «Коль славен». По ту сторону окон, занавешенных толстым штофом, розовели в утреннем солнце опушённые инеем деревья.

Особняк просыпался снизу, с подвала. Заспанная стряпуха в замусоленном переднике, крестя зевающий рот, нехотя растапливала печь. Кухонный мужик Федька раздувал голенищем серебряный самовар. Рябоватый, вихрастый казачок Фомка, поплёывая на щётку, чистил сапоги, штиблеты и башмаки с пряжками.

По углам, под низкими закоптелыми сводами, шуршали чёрные тараканы. Их расплодилось великое множество, потому что истреблять их и люди не решались, да и сам граф не приказывал: чёрные тараканы приносят счастье.

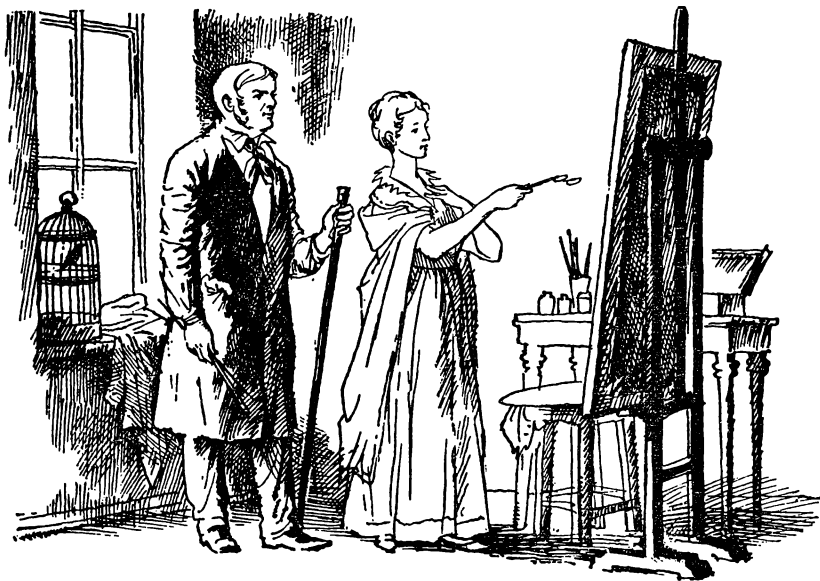
Босоногая девка, шлёпая пятками и высоко держа на отлёте белоснежный чепец, пронеслась вверх по витой лестнице в комнату мадам Боцигетти, гувернантки молодых графинь.

Во втором этаже, в светлой, просторной горнице, Василий Андреевич Тропинин заканчивал фамильный портрет графов Морковых.

Отстроив заново дом, сгоревший во время московского пожара 1812 года, граф Морков отвёл своему крепостному художнику отдельное помещение для работы, а главное, для приёма знатных и просвещённых ценителей.

Василий Андреевич любил эти утренние часы сосредоточенной безотрывной работы, пока господы ещё спят. Розовые от морозного солнца снега за окном румянят отражённым сиянием воздух, и под кистью художника тёплые розовые блики ложатся на белое платье молодой графини в центре портрета, на белого пуделя у ног графа.

В клетке на окне чирикает чижик.



Жена Аннушка хлопочет по хозяйству в горнице рядом. Пахнет свежеиспечённым хлебом, сушёными травами, лампадным маслом.

Частый стук каблучков вверх по витой лестнице. Певучий скрип двери.

— С добрым утром, Василий Андреич! Всё рисуешь? Дай взгляну.

С широкого полотна фамильного портрета, точно отражённое в зеркале, улыбается молодой графине её собственное изображение: приветливые карие глаза, мягкий нос «сапожком», белое платье с высокой талией. И, радуясь, как дитя, Наталья Ираклиевна хлопает в ладоши:

— Ай хорошо! Словно в натуре! Скоро ли готов будет? Папенька сей фамильный портрет мне к свадьбе презентовать намерен. Так ты уж постарайся ради меня.

— Слушаю, ваше сиятельство.

Она рассматривает картину в лорнет и добавляет озабоченно:

— Кружева-то, кружева постарательней выпиши! Кружева драгоценные, венецианские, так чтоб сразу узнать можно.

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Ах, позабыла вовсе! У нас с тобой нынче урок по атласу рисовать. Да мне сейчас нельзя. На Кузнецкий ехать надобно. Так после завтрака рисовать буду.

— Слушаю, ваше сиятельство.

Снова певучий скрип двери. Частый стук каблучков вниз по витой лестнице.

Художник вздохнул.

Он не любил кропотливо отделывать детали. Смелые небрежные мазки были больше ему по вкусу. Но её сиятельство выразила желание щегольнуть драгоценными кружевами, и покорная кисть тщательно выписывает паутинный рисунок.

В горницу влетел казачок Фомка, рот до ушей.

— Василь Андреич, тама спрашивают вас. Хи-хи-хи... Вот чудной-то! Лекарь, рассказывает... из Кукавки приехавши...

— Данилевский?! Прокопий? Зови, зови скорее! — радостно крикнул он.

С палитрой в руках бросился к двери:

— Проща... друг!.. Сколько лет... Батюшки!..

Побежал полутёмным коридорчиком к лестнице.

Незнакомый пожилой крестьянин, обросший клочковатой бородой, окликнул его:

— Вася... Василий Андреич!..

Тропинин остановился, досадуя на задержку. Испитое, в дряблых складках лицо... слезящиеся глаза.

И вдруг узнал:

— Прокопий, ты? Проша! Да как же ты, братец мой, переменялся!

Друзья облобызались. Тропинин увёл Данилевского в свою мастерскую. Рассеянно и хмуро разглядывал деревенский лекарь картины по стенам, незаконченный семейный портрет.

«Как опустился, постарел...» — горестно подумал Тропинин, не зная, что сказать.

Данилевский понял, усмехнулся:

— А давненько ты к нам в Кукавку не жаловал.

— Да, с той самой поры, как церковь расписывал и господский дом.— И спросил осторожно: — Ну, а ты-то как живёшь, Прокопий?

— Сам видишь как. Городского платья по сей день лишён, дабы не зазнавался, не возомнил лишнего.

— Платье — что! — возразил Тропинин.— Работа как? Наука?

— Нет, врётся, брат! — вскинулся на него Данилевский.— Неспроста меня понуждают носить сие платье, но ради вящего моего унижения. Помни, мол, холоп, кто ты таков есть! Не превозносись! Про учёную карьеру и думать забудь. Заставили забыть. В лаптях да в сермяге в университет не проберёшься, а сельскому лекарю где науки добыть? Книг не имею. И старое, что знал, забывается. Снадобья сам изготавляю из трав да мужичков пользую, как бабка моя, знахарка, пользовала. Только что с уголька не спрыскиваю, вот и вся разница.

— Так... так... Да к тому ещё, вижу, пьёшь, Прокопий,— мягко упрекнул Тропинин.

— Пью, пил и буду пить! — вдруг крикнул Данилевский.— Душа горит, Василий! Или живой душе можно надругательство выдержать, не дурманя себя? Ведь словом перекинуться не с кем. Просвещённого ума на всю округу днём

с огнём не сыщешь. Одни баре-самодуры да тёмные мужики. И те же ещё и трунят: «Что, помогла тебе наука твоя, лекарь учёный? Так же, как и мы, грешные, в курной избе живёшь да в лапти обуваешься». Что говорить! Всего не перескажешь... Жену бабы донимают за то, что не бью я её. Ну и прячешься ото всех. Точно крот, в нору свою уходишь да вино глушишь. Эх, Василий, как ты-то уцелел в кабале? Где силы берёшь для жизни каторжной? Открой старому другу, поведай тайну.

— Какая тайна? Никакой тайны нет,— сказал Тропинин.— Терпение да любовь великая — вот тебе и вся тайна.

— Любовь? — Данилевский злобно ощерился.— К супостатам нашим любовь? К сиятельному графу со чадами и домочадцами?

— Нет, Прокопий, к искусству любовь, к делу жизни моей.— Тропинин провёл рукой по незаконченному полотну, словно приласкал картину.— Это мне и силы даёт терпеть. Что поделаешь, друг, плетью обуха не перешибёшь.

Но Прокопий яростно замотал головой.

— Как жить? Как перенести? Где взять терпения? Подумай, Василий, одно графское слово, один росчерк пера... и был бы я теперь знаменитый учёный! Меня университет за границу отправить хотел.— И, уже не помня себя, иступлённо: — На всю империю Российскую, на весь мир прогремел бы... прославился! Я бы... я бы... человечество благодетельствовал!..

Голос у него сорвался, он заплакал, молча обнял друга, заговорил тусклым голосом:

— Кто я теперь? Лекарь-недоучка, пьяница горький... Раздавили, точно червяка, затоптали... погубили жизнь... Душа горит, Василий!



— Полно, братец, — мягко, точно больному или ребёнку, говорил Тропинин. — Пойдём к жене, потолкуешь с ней. Аннушка у меня женщина душевная. Разговорит тебя.

— Что обо мне толковать? Я — конченный.

Поварской колпак просунулся дверь:

— Василь Андреич, его сиятельство приказать изволили трёх сортов десерт изготовить: гостя к завтраку ждут.

Тропинин обернулся к Данилевскому:

— Слышал? Вот тебе и жизнь моя.

Он тщательно вытер кисти, сменил перепачканную красками коричневую блузу на белоснежный халат и, передав приятеля на попечение жены, ушёл в поварню.

Кухонный чад так густо пахнет снедью — дохнёшь и то сыт будешь. Стряпуха Аграфена сажает в печь кулебяку с осетриной. Главный повар Федосеич, ругаясь нехорошими словами, вылавливает из кастрюли чёрных тараканов. У поварёнка Гришки распухло красное, как свёкла, ухо. Зачем проворонил? Зачем допустил тараканов в господский суп-препаньер?

Из тёмного люка, ведущего в погреб, поднимается по крутой, почти отвесной лесенке казачок Фомка. Заслонённое рукой пламя свечи озаряет снизу его рябоватое лицо. Отражённый свет играет в зрачках, придавая простодушным Фомкиным глазам новое выражение, лукавое и насмешливое, и Тропинин, старательно взбивая сливки, наказывает:

— Вечерком придёшь ко мне, я рисовать тебя буду.

— Не?! Взаправду рисовать? Будто графа али барина какого важного!.. — Фомка хмыкает от удовольствия. — Непременно приду, Василь Андреич.

Художник аккуратно наполняет формы бисквитным тестом, а внимательный глаз его отмечает то непринуждённо-грациозную позу девушки, прикорнувшей на сундуке, то мелкую сетку морщин под глазами старшего повара, то сизова-

тый нос кухонного мужика Феды. И вспоминаются слова сверстника по академии Варнека: «Я уезжаю в Италию, но ничего совершеннее природы найти не надеюсь».

Тропинин на всю жизнь запомнил эти утешительные слова, а скоро и сам убедился, что природа — лучший учитель: Украина, имение Моркова заменили ему Италию.

Тропинин не получил заграничной командировки. Даже академии не окончил: советник Щукин предупредил графа о покушении Строганова на его собственность, и Морков поспешно отозвал Тропинина.

Он красил забор и кареты, заведовал буфетом, сооружал торты, прислуживал за столом, сопровождал графа в поездках, обучал бесталанных графских отпрысков живописи, расписывал церковь в Кукавке, писал портреты своих господ. И при всём том упорно учился. Иногда в изнеможении засыпал перед мольбертом; едва очнувшись, снова брался за кисть. «Он лбом стену прошибает», — говорили почитатели его таланта.

— Прошу взглянуть, мосье де Вильбуа! Сей фамильный портрет я презентую к свадьбе старшей дочери моей графине Наталье Ираклиевне. Многие истинные ценители весьма одобряют. Он не вполне закончен, однако...

— Это есть бесподобно! — воскликнул француз. — Это есть замечательно!

Его сиятельство граф Ираклий Иванович Морков услаждался впечатлением, произведённым портретом на француза. Недаром, показывая гостю свой новый, роскошно украшенный дом, он приберёт на закуску мастерскую крепостного художника. Тут было чем удивить даже самого просвещённого иностранца!

— Я восхищён! — продолжал француз, внимательно изу-

чая портрет. — Я совершенно очарован! Я узнаю кисть большой мастер... Его имя, дорогой граф, скажите мне его имя.

— Да, признаться должно, художник небезызвестный, — самодовольно отвечал хозяин. — Тропинин. Василий Тропинин.

— О, мосье Базиль Тропинин! Я знаю, очень хорошо знаю творения этот знаменитый художник. Я вам завидую, дорогой граф. Вы будете счастливый обладатель истинный шедевр. И этот великий мастер оставляет свой ателье, чтобы работать у вас? Он, вероятно, часто посещает ваш дом? Я был бы счастлив сделать его знакомство.

— Весьма рад возможности исполнить ваше желание, любезный мосье де Вильбуа!

Запыхавшийся, раскрасневшийся у плиты, снимая на ходу поварской халат, Тропинин поднимался по винтовой лестнице. У дверей мастерской он бросил халат на руки Фомке, который шёл за ним по пятам.

— Накажи Корнею, бисквиты бы не пересушили в печи. А торт без меня бы не уделывали. Сам подспею.

— Колпак-то, колпак-то позабыли снять, Василий Андречич! — испуганно зашептал Фомка.

— Ах ты батюшки!

Сдёрнув колпак, художник тщательно вытер платком потный лоб и толкнул дверь в горницу.

— Поди-ка, Василий! Господин де Вильбуа хочет с тобой познакомиться, — милостиво объявил граф.

Тропинин сдержанно поклонился, но француз бросился к нему с протянутыми руками:

— Стало быть, это есть вы, мосье, знаменитый художник Тропинин? О, я счастлив сделать ваше знакомство, мосье!

Этот прекрасный шедевр не есть первое из ваши произведения, которое я знаю. Ваша работа уже была... как это говорят?.. un clou... как это говорится по-русски? Гвоздь на выставка академи. О, я помню очень хорошо! «Мальчик с птичкой».

— Весьма тронут, сударь,— смущённо пробормотал художник,— я, право, не знаю-с...

— Василий Андреич! Василий Андреич!

Тропинин обернулся. Фомка испуганно жестикулировал: «Тесто поспело! Сливки взбиты! Торт уделывать время!»

Тропинин поклонился французу:

— Виноват, сударь, не посетуйте-с... Там меня зовут-с...

— О, я не осмеливаюсь злоупотреблять ваше драгоценное время! — любезно расшаркивался де Вильбуа.— Но я надеюсь видеть вас сегодня и ещё один раз говорить с вами.

— Почту за честь, сударь.

Француз смотрел ему вслед, умилённый.

— О, как он скромн! Впрочем, истинные таланты всегда скромны.

Морков повёл гостя в столовую.

— Я узнал мгновенно прелестный оригинал, который послужил модель для искусный художник,— прижимая руку к сердцу, говорил француз старшей дочери графа.— И я должен признаться, я колеблюсь: совершенное произведение натюр в вашей персоне и совершенное произведение искусство соперничают между собою.

— Вы слишком любезны, мосье де Вильбуа! — покраснелась молодая графиня, приседа в реверансе.

Когда же Тропинин вышел к обеду, чтобы, по обыкновению, стать за стулом своего барина, француз бросился навстречу и просил оказать ему честь отобедать рядом с ним.



Растерявшийся художник благодарил и кланялся, не зная, как выйти из положения. А француз не унимался, подставил ему стул, упрашивал сесть рядом. Морков с дочерью переглядывались, не умея прервать неловкую сцену. Наконец старшая из молодых графинь решилась:

— Тысячу извинений, мосье... Но Тропинин не может... Ему не подобает сидеть за одним столом со своими господами. Ведь он наш крепостной.

— Кре-пост-ной?!

Тропинин занял место за стулом своего барина, а француз, изумлённый, смотрел, как талантливый художник с привычным спокойствием менял тарелки и подавал блюда.

Поздно вечером Тропинин раздевал графа на ночь, ставил с его подагрических ног мягкие бархатные сапоги. Морков, глядя куда-то мимо, сказал:

— Послушай, в другой раз... Ну, когда мы кушаем, твоё место за столом может занять кто-нибудь из прислуги.

Слава Тропинина росла. О нём писали в отчётах о художественных выставках, печатали отзывы о его работах в журналах, толковали о нём в дворянском клубе, в гостиных.

Известный знаток и ценитель искусства Дмитриев выиграл как-то у графа Моркова в карты очень крупную сумму. Так как граф не мог её отдать немедленно, Дмитриев потребовал, чтобы он вместо уплаты карточного долга отпустил на свободу Тропинина. Но Морков и на этот раз не сдался.

Однако он уже сознавал, что нехорошо, неловко держать в неволе крупного художника, имя которого известно не только в России, но и в Европе.

Проводив гостя, Морков, вместо того чтобы, по обыкновению, соснуть часок-другой после обеда, прошёл в малую гостиную, где старшие дочери — Наташа и Варя — расположились с рукодельем.

— Ах, папенька,— обернулась на его шаги Наталья,— а я, представьте, и не знала, что наш Василий даже у иностранцев славу стяжал. Лестно подобного человека среди своих крепостных иметь. Запишите за мной Тропинина, папенька, окажите милость!

— Наталі, душа моя,— ответил он задумчиво,— ты воскресашь в моей памяти твою незабвенную матушку. С той же девической прелестью, теми же словами просила она отца своего записать за ней в приданое Ваську Тропинина, казака. Будто вчера ещё сие произошло.

— Вот видите, папенька, вы Тропинина за маменькой получили, так отдайте его за мной, в приданое же.

— Вишь что выдумала! Всё ей да ей! Или одна ты у папеньки? — затараторила вдруг Варвара.— Почитай, все фа-

мильные бриллианты ей в приданое, и портрет семейственный ей, и самого художника за ней же запиши! Папенька, милый, будьте справедливы, запишите Тропинина за мной!

Морков молча похаживал по залу. Потом сказал:

— Господин Свиньин журнальную статью тиснул, восхваляя славу Тропинина, и после одной статьи вся Москва точно рехнулась. В аглицком клубе только и речи что о Тропинине. И общий глас не токмо у нас в Москве, но и в Санкт-Петербурге настоятельно требует его освобождения. Им всем легко, мне-то каково...

Тропинин взошёл к себе, снял ливрею, снова надел перепачканную красками коричневую свою блузу и принялся за работу. Начал смешивать краски, подошёл к полотну, но вдруг отложил палитру в сторону и присел у стола.

За стеной тяжко храпел Данилевский, с присвистом, со стонами. В дверь заглянула Аннушка:

— Я ему, Василий Андреич, шкалик поднесла, огурчиков солёненьких. Выпил и соснул, сердечный...

Тропинин долго сидел за столом в непривычном бездействии.

То ли боль за старого друга возмутила всегда ясное его душевное спокойствие, то ли непрошеное внимание француза в новом свете явило ему горькую его участь, которую он переносил с таким гордым смирением.

Уже сумерки затянули углы мастерской. Уже за окном на бульваре заплясали вокруг фонаря искристые снежинки.

Аннушка внесла свечу, начала собирать ужин. В горнице рядом храпел Проша Данилевский.

Благовестили колокола «сорока сороков». Пасхальный звон, густой и затейливый, рождаясь в глубине разверстых медных пастей, плыл в утреннем воздухе над золочёными куполами Ивана Великого, над кремлёвскими стенами, над принаряженными толпами, стлался в голубоватом тумане над Москвой-рекой.

Первыми вернулись из церкви молодые графини. Ливрейный лакей распахнул дверцы. Промелькнули атласные башмачки, оборки, кружева, собольи накидки, страусовые перья, искусные парикмахерские сооружения из лоснящихся от заграничных помад волос и живых цветов. Шелестя лиловым шёлком вдовьего наряда, проследовала за молодыми графинями их воспитательница, мадам Боцигетти.

Несколько позднее подъехала карета графа. Блестя шитьём мундиров, Ираклий Иванович с сыном поднялись по ступеням крыльца.

В столовой над большим столом разносился приторный аромат гиацинтов и бледных оранжерейных роз. На четырёх углах стола золочёные медведи держали в лапах хрустальные подносы с зернистой икрой. Крашеные пасхальные яйца лежали на фарфоровых тарелках. Сдобные куличи и «тюлевые бабы», украшенные белой глазурью и белоснежными агнцами или яркими розами, возвышались над столом. Сырные пасхи с замысловато выложенным узором из цукатов источали аромат ванили. Сочные окорока, огромные рыбины лежали на золочёных блюдах. Вина всех цветов и оттенков, выдержанные в обомшелых бутылках из собственных погребов, стоялые мёды, наливки и настойки в прозрачных гранёных графинчиках, окружённых серебряными, золотыми и стеклянными стопками, чарками и рюмками, играли радужными переливами.

В конце столовой, за колоннами, толпились дворовые: девушки в пёстрых ситцевых платьях, чинные лакеи в ливрейной форме или в цветных фраках с высокими галстуками, казачки, повара, конюхи и прочая челядь. По обычаю, исстари заведённому в дворянских семьях, господа одаряли дворню в светлое Христово воскресенье перед разговеньем. Каждый получал «на красное яичко» подарок по чину, по заслугам, по господскому благоволению.

Стол, заваленный подарками, стоял в углу. Подле кресло с высокой спинкой для его сиятельства.

Вошёл граф, перекрестился на образа, поздравил домоладцев с праздником и приступил к раздаче подарков. Челядинцы прикладывались один за другим к бариновой пухлой руке и получали кто серебряную табакерку, кто пузатые, серебряные же, часы, кто золотой перстенёк с самоцветным камешком, дутые золотые серёжки, шёлковый полушалок, штуку сукна.

— А где же Тропинин? — спросил граф, окончив раздачу подарков.

— Здесь, ваше сиятельство.

Тропинин стоял в стороне, прислонившись к колонне, рядом с женой Анной Ивановной и сыном Арсением. Год тому назад художник перенёс тяжкую болезнь. Жив остался, но силы пошли на убыль.

И теперь сказались две бессонные ночи подряд: одна за изготовлением куличей к господскому столу, другая у пасхальной заутрени.

— А тебе, друг Тропинин, я приготовил самый желанный дар, — торжественно и не без волнения в голосе произнёс Морков, когда художник к нему приблизился.

Он открыл ларец сандалового дерева и вынул вчетверо сложенный толстый атласистый лист бумаги:

— Прими сие, Василий.

Не смея верить догадке, художник развернул бумагу дрожащими руками.

«Пятнадцатого марта 1823 года. Предъявитель сего, крепостной дворовый человек, Василий, Андреев сын, Тропинин, принадлежащий графу Ираклию Ивановичу Моркову...»

Вольная? Вольная! Буквы слились. В глазах потемнело... Тропинин пошатнулся, но, тотчас же овладев собой, наклонился над рукой господина, намереваясь поцеловать её.

— Полно, Василий Андреич,— сказал граф, отводя руку.— Ты теперь человек вольный. А такому лишь к деснице венценосца да к ручке прекрасных дам прикладываться подобает.

И, довольный собственной шуткой, Морков тоекратно облобызал Тропинина.

— И впрямь вольные мы?..— ахнула Анна Ивановна, лишь сейчас уразумев происходящее.

Она в ноги поклонилась графу:

— Ваше сиятельство! Батюшка барин, благодетель ты наш! Матушка графинюшка, Наталья Ираклиевна! Варвара Ираклиевна, голубушка наша!.. Да как же мне благодарить-то вас?.. Василий Андреич, родной ты мой! Привёл господь хоть под старость-то лет. Вольные мы люди, вольные!..

Она заплакала.

— Полно тебе, матушка,— сказал граф.— Василий Андреич, успокой жену.

Тропинин отвёл Анну Ивановну в сторону. Дочитал бумагу, спрятал в карман. Сын Арсений всё ещё стоял один у колонны. Василий Андреевич подошёл к юноше, положил руку ему на плечо. Слов утешения не было: отпустив на волю отца и мать, Морков оставил их сына крепостным...

Пасха выдалась в том году ранняя. Погода стояла пасмур-

ная: снег вперемешку с дождём. К подъезду особняка подка- тывали кареты. Слуги сновали по скрипучей лестнице из буфетной в столовую и обратно с блюдами, тарелками и бу- тылками. Из малой гостиной доносились звуки романса. Пела графиня Наталья Ираклиевна. Мадам Боцигетти ак- компанировала.

А в людской брэнчала балалайка, захмелевшая челядь вскрикивала, била в ладоши, а казачок Фомка выстукивал каблуками «русскую».

— Василий Андреич! — окликнула Тропинина жена.

Ей хотелось поговорить с мужем о том, как они устроят- ся теперь, заживут своим домком на вольной воле. Он будет картины писать без помехи, сколько душеньке угодно, а она по хозяйству хлопотать. Заведёт кур, гусей, уток, чтобы дом был полная чаша. Будут жить тихо, скромно, честно. А там, гляди, подкопят деньжонок и Арсения выкупят. Не век же его граф будет в неволе томить.

Тропинин молча смотрел на мокрые снежинки, крутящие- ся в мутном воздухе. Не отзывался.

— Да что с тобой, Василий Андреич, сделалось? — недо- умевала жена.— Вольная ведь... Вольная! А ты ровно камен- ный. И не радуешься вовсе. И графа не поблагодарил путём. Грешно тебе, право. Добрый барин, дай бог ему здоровья, нас на волю отпустил, а ты...

— Добрый барин...— Тропинин обернулся, и Анна Ива- новна удивилась невиданному доселе выражению горечи на его обычно невозмутимом лице.— Подлинно добрый,— про- должал художник раздумчиво.— На конюшне не порол, голодом не морил. Лаской господской да милостями не об- ходил. Только душу обкорнали и крылья подрезали. По ла- кейским, по чадным кухням, в суете, в бестолочи силы рас- трачены. Вспомнился мне сейчас и Прокопий. Что и говорить, добрый барин...

— Полно, Василий Андреич,— опасливо оглядываясь, уговаривала жена.— Опомнись, батюшка. Вольные мы теперь.

— Вольные...— с горечью повторил художник.— Не поздно ли? Почитай, вся жизнь в кабале. Седина в висках, силы на убыль идут. И у орла в неволе крылья слабнут. А человек... За чужой спиной привыкли, на господском куске, на готовом жить... А ныне своим домом как проживём? Оправдаем ли себя? Не поздно ли?

— Это на волю-то поздно? — выкрикнула Анна Ивановна.— Грех тебе, Василий Андреич! Цены себе не знаешь!

Тропинин обнял жену. Она была права. Если он в холопах образа человеческого не потерял, в ливрее лакейской, в поварском колпаке духом не пал, не угас, искусству высокому всей душой, всеми помыслами был предан, так уж теперь-то, вырвавшись из-под ярма, чего ему страшиться.

Под вечер его сиятельство поднялся в светлицу Тропининых. Он по-своему любил художника, гордился им. А главное, ценил его как честного и усердного слугу.

Отдышавшись в подставленных ему креслах, граф сказал:

— Не присоветуешь ли, Василий Андреевич, кем заменить тебя в камердинерах? Кузьма сметлив, расторопен, да, боюсь, на руку не чист. Гаврюшка — тот на господское не позарится, да больно уж неповоротлив, с ленцой.

Обсудив достоинства и недостатки ещё дюжины своих челядинцев, Иракий Иванович заключил, что Тропинин незаменим ни в камердинерах, ни в кондитерах, ни как доверенный по всему графскому имуществу.

— А сам-то как думаешь устроить себя? — любопытствовал Морков, когда хозяйственные дела были закончены. — Коли желаешь, в художественное училище тебя определю. Уроки давать воспитанникам. Верный хлеб, а мне не в труд.

— Благодарствую, ваше сиятельство, — поклонился Тропинин, — никакого казённого места я отныне и до конца дней моих занимать не буду.

— Почему сие? — недоумевал Морков.

— Всю-то жизнь я под началом был, хочу теперь по вольной воле пожить. Сам себе господин и никакого начальства не знаю, — спокойно объяснил художник.

— Как же жить-то будешь?

— В академики баллотироваться предполагаю, ваше сиятельство.

— Дело, — одобрительно кивнул Ираклий Иванович. — Я тебе протекцию окажу. Чтобы моего художника в академики не провели...

— Покорно благодарю, ваше сиятельство, но я твёрдо уповаю пройти в академики и без протекции, по заслугам своим.

ПОРТРЕТ ПУШКИНА

Пушкин остановился в дверях мастерской. Небольшая, затопленная солнцем комната. Тёплые лучи янтарными полосами ложились на крашеный пол. Солнечные зайчики перепрыгивали с украинского пейзажа на портрет сына художника, на изображение молодого весёлого гитариста, мальчика с карандашом в руках. Из единственного окна открывался вид на кремлёвские башни. Перед окном стоял мольберт с холстом, только что натянутым на подрамник.



Здесь не было ничего лишнего, никаких предметов роскоши, которыми любили украшать свои мастерские модные живописцы. Ничего, кроме холстов самого Тропинина. Но приветливые улыбки изображённых на портретах людей, приятное сочетание красок делали мастерскую весёлой и нарядной.

— Пожалуйте, Александр Сергеевич,— повторил художник, указывая на перекинутый через спинку кресла коричневый, с синими отворотами халат.— Господин Соболевский прислал.

Пушкин сбросил длинный чёрный сюртук, надел халат и повязал шею голубым платком.

Глаза художника из-за круглых роговых очков зорко следили за каждым движением поэта.

— Не извольте утруждать себя,— сказал он.— Располагайтесь с наибольшим для вас удобством, думайте о чём вам будет угодно и постарайтесь забыть, что вы позируете.

Пушкин кивнул.

Знаменитый портретист почувствовал неожиданную робость. Он имел обыкновение развлекать «натуру» разговором, чтобы схватить самое непринуждённое её выражение.

Но наедине с Пушкиным он растерялся. Как уловить игру этого удивительного лица, беспрестанные перемены в прекрасных светлых глазах? Можно написать двадцать портретов Пушкина, и всё же ни один не передаст вполне своеобразия облика...

Соболевский, друг поэта, заказавший портрет, просил изобразить его таким, каким он бывает дома.

Художник вздохнул, взял итальянский карандаш и несколькими штрихами набросал на листе бумаги свободно падающие складки халата, общий контур фигуры, головы.

Пушкин сидел неподвижно. Задумался.

И вдруг Тропинин увидел то, что ему было нужно, то, чего он ждал: великого поэта. Он перевернул лист с наброском халата, и там, на оборотной стороне рисунка, легли первые торопливые, но уверенные штрихи.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Смотри на господ веселей	3
Нерадивый слуга Василий	20
«Мальчик с птичкой»	31
Два друга	40
Добрый барин	53
Портрет Пушкина	58

Дорогие ребята!

*Отзывы об этой книге
издательство просит присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Софья Абрамовна Заречная

КАЗАЧОК ГРАФА МОРКОВА

Историческая повесть

ИБ № 5861

Ответственный редактор
С. П. Мосейчук
Художественный редактор
В. А. Горячева

Технические редакторы
М. В. Гагарина и Т. П. Тимошина
Корректор
Э. Л. Лофенфельд

Сдано в набор 12.10.81. Подписано к печати 16.02.82. Формат 60×84¹/₁₆.
Бум. типогр. № 1. Усл. печ. л. 3,72. Усл. кр.-отт. 4,19. Уч.-изд. л. 2,79.
Тираж 300 000 экз. Заказ № 4467. Цена 10 коп. Ордена Трудового Крас-
ного Знамени издательство «Детская литература» Государственного ко-
митета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знаме-
ни фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государствен-
ного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, Суцевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Заречная С. А.

З-34 Казачок графа Моркова: Историческая повесть/ Рис. И. Кускова.— М.: Дет. лит., 1982.— 62 с., ил.— (Маленькая историческая б-ка).

10 к.

Историческая повесть о талантливом русском крепостном художнике Василии Тропинине.

З $\frac{4803010102-249}{M101(03)82}$ 376—82

P2

10 коп.